

валентин
тальчников
любимое

Валентин Тальчников

Любимое

<https://litres.ru/74690868>

SelfPub; 2026

Аннотация

Исповедальная повесть о преодолении психологического насилия и возвращении себе права на собственный голос.

Годами герой подстраивал дыхание под чужое настроение, путая тотальный контроль с великой любовью. Но однажды внутри загорается искра упрямства, запускающая путь наверх. Это глубоко личный, физиологически точный и поэтичный гид по исцелению: от ломки зависимого сознания — до скрипа морозного снега, уверенного кроля в бассейне и жизни на своих собственных ногах.

Содержание

Глава I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Валентин Тальчников

Любимое

Глава I

В этой новой темноте нет покоя — есть только оцепенение, в котором слух обостряется до предела. Басовая партия больше не звучит извне; она вибрирует где-то под ребрами, тяжелыми, размеренными ударами, от которых вибрирует пол. Это ритм шагов того, кто добровольно возвращается на пепелище, прекрасно зная, что зола все еще хранит тлеющие угли.

Пустыня отступила, но оставила после себя сухость на губах и сосущую пустоту в желудке. Тот ослепительный полдень сжег слишком много кожи. Быть зрячим оказалось физически невыносимо. Когда ты видишь всю картину целиком — каждую расчетливую паузу, каждый вздох, сымитированный ради того, чтобы удержать дистанцию, каждый жест, рассчитанный на то, чтобы заставить вывернуться наизнанку, — мир становится плоским, как стеклянный срез под микроскопом. В нем не остается воздуха для чуда. А чудо требовалось как наркотик.

Поэтому сумерки воспринимаются почти с благодарностью. Они затягивают раны мягкой, гниlostной паутиной.

Я снова стою в центральной галерее памяти. Только теперь сепия не теплеет — она цветет в свинцово-серый, цвет мокрого бетона и глубоких луж. Стены здесь длинные, уходящие в бесконечность, увешанные рамами без стекол.

Вот комната под номером семнадцать. Зимняя, с запахом мокрой шерсти и корицы. Я переступаю порог, и доски под ногами жалобно скрипят, будто предупреждают: *не наступай, там пустота*. Но нога опускается ровно туда, где половица прогибается глубже всего.

В углу — низкий диван, чашка остывшего чая с плавающей пленкой на поверхности. Я помню этот вечер до мельчайших подробностей. Это был вечер великого примирения после трехдневного ледяного молчания. Тогда казалось: вот она, победа любви над гордостью. Я на коленях у чужих ног, пальцы судорожно перебирают край чужого свитера, в горле стоит ком размером с кулак, и каждое слово дается как признание вины на допросе. За что вины? За лишний вопрос. За не вовремя высказанную тревогу. За то, что посмело потребовать ясности.

И как же сладко было, когда прохладная ладонь наконец опустилась на затылок.

В памяти этот жест годами хранился как высшее благоговение, как снисхождение божества к недостойному созданию. Но сейчас, в меркнувшем свете, сквозь серый туман проступает правда, от которой сводит челюсти: та рука не гладила. Она просто лежала. Тяжелая, ленивая, снисходительная. В ней не было тепла — только констатация капитуляции. «Ты здесь. Ты никуда не денешься. Ты снова сломалось под моим молчанием».

И самое страшное — я хочу этого снова.

Жажда не ушла вместе с солнцем, она просто мутировалась. Теперь хочется не воды, а именно той ядовитой амброзии — момента, когда наказание прекращается. Потому что ничто на свете не дает такой острой, химической вспышки эйфории, как палач, внезапно решивший убрать топор от шеи. В здоровом тепле нет этого адреналинового пика; чистое солнце утреннего леса греет ровно и спокойно, а измученная нервная система принимает покой за смерть. Ей нужны качели. Ей нужен свист ветра в ушах при падении в пропасть.

Я делаю шаг вглубь комнаты. Серые тени смыкаются за спиной, отрезая дверной проем. Звуки гитары становятся грязнее — появляется перегруз, звук овердрайва, царапающий барабанные перепонки. Это та самая часть трека, где мелодия начинает захлебываться собственной мощностью, где голос больше не поет, а почти кричит сквозь зубы.

На стене проступает тень. Знакомый силуэт — слегка опущенные плечи, наклон головы, манера держать запястье чуть расслабленным, словно демонстрируя хрупкость. Эта хрупкость была абсолютным оружием. Сколько раз приходилось задвигать собственную боль, собственные слезы, лишь бы не потревожить этот хрупкий хрусталь чужого настроения? Стоило заговорить о том, что внутри меня что-то кровоточит, как в ответ раздавался тихий, раненый вздох: «Мне и так тяжело, а теперь еще и ты».

И всё. Роли мгновенно менялись местами. Тот, кто только

что был ранен, становился агрессором, обязанным вымаливать прощение за причиненное беспокойство.

Гениальная, безупречно выстроенная архитектура манипуляции. Ни единого грубого слова. Ни одного повышенного тона. Только тихая, вежливая, смертоносная паутина, в которой трепыхаться значило лишь глубже запутываться.

Я подхожу к этой тени. Воздух вокруг нее пахнет озоном и старым пеплом. Рука поднимается сама — вопреки рассудку, вопреки выжженной пустыне памяти. Пальцы тянутся к знакомым очертаниям, готовые снова замкнуть эту цепь.

Темнота в комнате сгущается до консистенции смолы, затекая в глаза, в нос, в горло. Падение продолжается, но теперь это не просто спуск — это погружение на глубину, где давление сплющивает легкие, а темнота становится единственной доступной средой обитания.

Смола под ногами перестает быть метафорой — она обретает плотность холодного машинного масла. Каждый шаг дается с глухим, чавкающим звуком, будто само пространство чертогов сопротивляется движению вперед, но с готовностью засасывает глубже.

Следующая комната не имеет стен; она бесконечна в ширину, заставлена длинными рядами архивных полок из необработанного железа. Здесь пахнет сырой бумагой, старыми билетами и металлическим привкусом перекушенной губы. Это зал уступок.

Я подхожу к ближайшему стеллажу. На полках лежат не

вещи — аккуратно препарированные решения. Вот маленькая коробка: отказ от поездки, которой ждали полгода. Достаточно было одного взгляда, брошенного украдкой поверх чашки, одного сухого замечания: «Конечно, поезжай, если тебе так важно оставить меня здесь в таком состоянии». Никаких запретов. Запрет — это грубо, запрет оставляет право на бунт. Вместо этого в пространство впрыскивался концентрированный раствор вины, в котором любая личная радость мгновенно растворялась, оставляя липкий, тошнотворный осадок. И поездка отменялась добровольно, с дрожью в руках и фальшивой улыбкой: «Я останусь, мне никуда не хочется».

Чужая выгода всегда маскировалась под жертву. Тот человек умел брать так, будто оказывал величайшую милость, принимая дар. Время, деньги, внимание, физические силы — всё исчезало в этой бездонной воронке с вежливым вздохом: «Ты делаешь слишком много, мне неловко». Но стоило на секунду замедлить эту подачу, как воздух в квартире вымораживался до нуля. Наступала ледяная вежливость, в которой каждый ответ состоял из двух слогов, а шаги по паркету звучали как приговор.

Гитара в ушах меняет тональность: теперь это не сокрушительный перегруз, а глухой, тягучий звук смычка, медленно пилящего басовую струну. Монотонный, гипнотический, усыпляющий волю.

В центре зала стоит стеклянный стол. На нем — отраже-

ние того дня, когда было решено промолчать в ответ на откровенную ложь. Ложь была мелкой, нелепой, шитой белыми нитками: переписка, свернутая при приближении, внезапно стертые сообщения, двусмысленные оправдания. Но попытка спросить напрямую разбилась о стену ледяного изумления: «Ты не доверяешь мне? После всего, что между нами было? Значит, проблема в твоей подозрительности».

И механизм сработал безотказно. Вместо того чтобы требовать правды, пришлось три часа доказывать собственную адекватность, извиняться за «невроз», целовать холодные пальцы и брать вину на себя. Это был высший пилотаж чужой защиты: перевернуть доску так, чтобы уличивший во лжи сам почувствовал себя преступником.

Я провожу рукой по стеклу. Оно обжигает холодом, но этот холод почему-то манит сильнее любого костра. В нездоровой привязанности есть чудовищный уют: там не нужно принимать решений. Там твоя единственная задача — угадывать чужую погоду, быть сейсмографом чужих обид, раствориться без остатка, пока от собственной личности не останется лишь функция обслуживания чужого покоя.

За залом уступок коридор сужается до узкой щели, стены которой выложены треснувшими зеркалами. В них больше не видно цельного силуэта. Отражения дробятся на сотни фрагментов: искусанные губы, настороженный взгляд, вечно поднятые в защитном жесте плечи.

Сумерки здесь приобретают багровый, воспаленный отте-

нок. Это свет уличных фонарей сквозь плотные шторы, когда бессонница длится третью неделю подряд, а в соседней комнате чужое дыхание звучит размеренно и глубоко — абсолютно равнодушное к тому, что в паре метров кто-то медленно сходит с ума.

«Ты все выдумываешь». «Этого не было». «Ты помнишь неправильно».

Эти фразы выбиты прямо на зеркальной амальгаме. Методичный, тихий газлайтинг, работавший годами с точностью швейцарского механизма. Если повторять человеку изо дня в день, что его память ненадежна, что его чувства преувеличены, а реакции неадекватны, он перестает доверять собственным глазам. Он начинает сверять реальность по чужому лицу, как заблудившийся путник по компасу — даже если стрелка компаса давно свернута чужой рукой на север, где ждет верная гибель.

Бас в голове звучит все ниже, опускаясь на частоты, которые не слышны ухом, но заставляют внутренности вибрировать от необъяснимой тревоги. Это то самое состояние постоянной боевой готовности — нервная система, натянутая как струна, ждущая щелчка выключателя, звука повернутого в замке ключа, интонации, с которой будет произнесено простое «привет». Будет ли этот вечер мирным или придется часами ходить на цыпочках, вымаливая прощение за неизвестно какую провинность?

Я останавливаюсь перед самым большим зеркалом. Из

глубины стекла навстречу выступает фантом — тот самый образ, который раньше казался средоточием всей красоты мира. Изящный разворот плеч, мягкие черты, полуулыбка, в которой читается абсолютная, хищная уверенность в своей власти.

— Зачем ты сопротивляешься? — беззвучно шевелятся губы в отражении. — Вспомни, как нам было тепло. Вспомни, как мы стояли на мосту. Вспомни, кто еще сможет так тебя понимать?

И память предательски подсовывает лучшие кадры: смех под зонтом, переплетенные пальцы в кармане пальто, тихий шепот посреди ночи, обещания, от которых перехватывало дыхание. Мозг, измученный пустынной жадой, готов ухватиться за эти крохи, стереть всю грязь, забыть про гнилые доски и вычеркнуть годы медленного удушья. Ради пяти минут этой иллюзорной нежности хочется снова упасть на колени, подставить шею под знакомое ярмо и закрыть глаза.

Темнота наваливается плотной, удушающей стеной. Ноги подкашиваются. Пол под ногами окончательно проваливается, и начинается долгое, медленное падение обратно в воронку.

Падение не имеет дна. Оно длится сквозь компромиссы, непроговоренные обиды, проглоченные слезы и выученную беспомощность. Версия песни в моей голове доходит до кульминационной точки — барабаны вступают жестко, ритмично, безжалостно отбивая такт. Это ритм механического

сердца, которое заставляли биться не для себя.

В темноте вспыхивают короткие, как разряды тока, воспоминания о чужих метаниях. Тот человек ведь действительно страдал — или виртуозно играл страдание. Вечные рассказы о душевных ранах прошлого, о невозможности любить до конца, о внутреннем холоде, который никто не в силах отогреть. И я бросалось в эту топку целиком, надеясь стать тем самым единственным огнем, способным растопить этот лед. Какая наивная, грандиозная гордыня — верить, что любовью можно спасти того, кто просто использует свои раны как лицензию на уничтожение окружающих.

Чужие метания были щитом. Пока человек мечется, с него нельзя спросить за ответственность. Пока он «ищет себя», ты обязано держать оборону, оплачивать счета, готовить ужины, выслушивать монологи о бессмысленности бытия и терпеть внезапные исчезновения. Это был идеальный симбиоз: паразит и донор, где донор искренне верил, что участвует в великой трагедии о спасении души.

Воздух становится ледяным. Серые сумерки превращаются в непроглядную ночную мглу. Пальцы нащупывают края старого пальто — иллюзия чужого присутствия настолько плотная, что можно почувствовать дыхание на щеке. Рука тянется вперед, чтобы обнять этот призрак, прижаться к знакомому плечу, сдаться, перестать бороться за собственную свободу.

Но в самый момент прикосновения пальцы проходят

сквозь пустоту.

Фантом в зеркале не сопротивляется — он просто рассеивается, как дым от задутной свечи, оставляя лишь холодную гладь стекла. Объятия захлопываются в воздухе, вокруг собственного тела.

Барабанный бой резко обрывается. Остается только тянущаяся, дрожащая нота синтезатора — тонкая, как лезвие бритвы.

В этой звенящей тишине сумерки перестают казаться укрытием. Они становятся тем, чем были всегда — сырым, пыльным подвалом, куда добровольно заперли живую душу. И среди этой абсолютной тьмы внутри, в самом центре грудной клетки, где, казалось, все давно выжжено дотла, загорается крошечная, невыносимо упрямая искра. Не слепящее солнце пустыни и не морок утреннего леса. Просто холодный, трезвый свет осознания: возвращаться некуда. Того человека, которого хотелось спасти, никогда не существовало. Была лишь искусная маска, натянутая на пустоту, и эта пустота никогда не сможет ответить взаимностью — потому что внутри нее нет ничего, кроме ненасытного, вечного голода.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.